

УДК 821.162.1-3  
ББК 84(4Пол)-44  
В55

Janusz Leon Wiśniewski  
SAMOTNOŚĆ W SIECI

Официальный сайт писателя: [www.wisniewski.net](http://www.wisniewski.net)

Перевод с польского *Леонида Цывьяна*

Оформление обложки

*Екатерины Елькиной* (Серия: «Януш Вишневский:  
о самом сокровенном»)

*Екатерины Фerez* (Серия: «Эксклюзивная классика»)

В оформлении обложки использована фотографии  
*Дениса Толмацкого*. [instagram: tolmatsky](https://www.instagram.com/tolmatsky)

### **Вишневский, Януш Леон.**

В55 Одиночество в Сети / Януш Леон Вишневский ;  
[пер. с пол. Л. Цывьяна]. — Москва : Издательство АСТ,  
2019. — 416 с.

ISBN 978-5-17-107003-8 («Януш Вишневский:  
о самом сокровенном»)

ISBN 978-5-17-107017-5 («Эксклюзивная классика»)

Она живет в Польше, он – в Германии. Однажды они случайно встретятся на просторах Сети. И начнется долгая онлайн-переписка, которая перерастет в их страстное влечение друг к другу. «Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви». Но была ли это любовь?..

Главный польский бестселлер начала XXI века, самый знаменитый и самый неоднозначный роман Януша Вишневского «Одиночество в Сети» – это история в письмах о запретной и оттого такой желанной любви и, конечно, о глубоком одиночестве по ту сторону компьютерного экрана.

УДК 821.162.1-3  
ББК 84(4Пол)-44

© Copyright by Janusz Leon Wiśniewski  
© Wydawnictwo Literackie, ul. Długa 1,  
Cracow, Poland  
© Цывьян Л., наследники, перевод, 2017  
© ООО «Издательство АСТ»,  
издание на русском языке, 2019

*Из всего, что вечно,  
самый краткий срок у любви...*



## @1

*Девятью месяцами ранее...*

С одиннадцатой платформы при четвертом пути железнодорожной станции Берлин-Лихтенберг бросается под поезд больше всего самоубийц. Так официально утверждают неизменно скрупулезные немецкие статистики на основании обследования всех вокзалов Берлина. Это, кстати сказать, заметно, если ты сидишь на скамейке на одиннадцатой платформе при четвертом пути. Рельсы там блестят куда сильнее, чем около других платформ. От часто повторяющегося аварийного торможения рельсы очень здорово шлифуются. Кроме того, шпалы, как правило темно-серые и грязноватые, в некоторых местах вдоль одиннадцатой платформы выглядят куда светлей, чем обычно, а кое-где они почти белые. Это потому что там использовались сильные детергенты, чтобы смыть кровь, что осталась после разорванных на части под колесами локомотива и вагонов тел самоубийц.

Лихтенберг — одна из самых последних железнодорожных станций Берлина и к тому же самая запущенная. У человека, лишаящего себя жизни на станции Берлин-Лихтенберг, впечатление, будто он уходит из серого, грязного, провонявшего мочой мира, где на стенах облупилась штукатурка, где полно торопящихся унылых, а то и отчаявшихся людей. Покидать навсегда такой мир куда легче.

На одиннадцатую платформу поднимаются по каменным ступеням через последний выход туннеля между кассовым залом и трансформаторной. Четвертый путь — по-

следний на этой станции. И если человек в кассовом зале станции Берлин-Лихтенберг решает покончить с собой, то, отправляясь на одиннадцатую платформу четвертого пути, он пусть ненадолго, но продлевает себе жизнь. Поэтому самоубийцы почти всегда выбирают четвертый путь, одиннадцатую платформу.

На платформе при четвертом пути есть две деревянные скамейки, все в граффити и изрезанные ножами; к бетонным плитам платформы они крепятся огромными болтами. На скамейке ближе к выходу из туннеля сидел исхудалый мужчина, от которого воняло потом, мочой, давно не мытым телом. Уже много лет он жил на улице. Он дрожал — от холода и страха. Сидел он, неестественно развернув ступни, руки держал в карманах рваной и усеянной пятнами куртки из синтетики, которая в нескольких местах была заклеена желтым скотчем с синей надписью «Just do it». Мужчина курил. Рядом с ним на скамейке стояли несколько банок из-под пива и пустая водочная бутылка. А возле скамейки в фиолетовом пластиковом мешке с рекламой сети магазинов «Альди», желтая краска которой давно уже стерлась, находилось все его имущество. Прожженный в нескольких местах спальный мешок, пяток шприцев, банка для табака, пачки папиросной бумаги, альбом фотографий с похорон сына, консервный нож, коробка спичек, две пачки метадона, книжка Ремарка в пятнах кофе и крови, старый кожаный бумажник с пожелтевшими порванными и вновь склеенными фотографиями молодой женщины, дипломом об окончании института и свидетельством о том, что податель сего не привлекался к уголовной ответственности. В тот вечер к одной из фотографий молодой женщины мужчина скрепкой присоединил письмо и купюру в сто марок.

Сейчас он ждал поезда, идущего с вокзала Берлин-ЦОО до Ангермюнде. В ноль двенадцать. Скорый поезд с обязательным бронированием мест и вагоном «Митропы» среди вагонов первого класса. Он никогда не останавливается на

станции Лихтенберг. Стремительно проносится по четвертому пути и исчезает в темноте. В поезде более двадцати вагонов. А летом так еще больше. Мужчина уже давно знал об этом. Он не первый раз приходит к этому поезду.

Мужчина боялся. Однако сегодняшний страх был совершенно другим. Универсальный, повсеместно известный, названный и основательнейшим образом исследованный. И мужчина ясно знал, чего он боится. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно назвать. От страха без названия не помогает даже шприц.

Сегодня мужчина пришел на эту станцию в последний раз. Потом он уже никогда не будет одинок. Никогда. Нет ничего хуже одиночества. Дожидаясь поезда, мужчина был спокоен, он примирился с собой. Он испытывал чуть ли не радость.

На второй скамейке — за киоском с газетами и напитками — сидел еще один мужчина. Трудно сказать, какого он был возраста. Лет тридцать семь — сорок. Загорелый, пахнущий дорогим одеколоном, в черном пиджаке из хорошей шерсти, в светлых брюках, в расстегнутой на две пуговицы оливкового цвета рубашке с зеленым галстуком. Рядом со скамейкой он поставил металлический чемодан с наклейками авиалиний. Включил компьютер, который вынул из кожаной сумки, но тут же снял с колен и положил рядом с собой на скамейку. Экран компьютера мерцал в темноте. Минутная стрелка часов над платформой перепрыгнула за двенадцать. Начиналось воскресенье 30 апреля. Мужчина спрятал лицо в ладони. Закрыл глаза. Он плакал.

Мужчина со скамейки близ выхода из туннеля встал. Залез в пластиковый мешок. Удостоверился, что письмо и купюра по-прежнему в бумажнике, взял черную банку пива и двинулся к концу платформы, туда, где стоит семафор. Он давно уже присмотрел это место. Миновав киоск с напитками, он увидел второго мужчину. Нет, он не предполагал в полночь встретить кого-нибудь на одиннадцатой платформе. Всегда он был тут один. Его охватила тревога,

отличная от страха. Присутствие второго человека нарушало весь план. Он ни с кем не хотел встречаться по дороге к концу платформы. К концу платформы... Это будет действительно конец.

И внезапно он почувствовал, что хочет попрощаться с этим человеком. Он подошел к скамейке. Отодвинул компьютер и сел рядом.

— Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток? Выпьешь? — спросил он, тронув этого человека за бедро и протягивая ему банку.

**ОН:** Минула полночь. Он опустил голову и почувствовал, что не может сдержать слезы. Уже давно он не ощущал себя таким одиноким. Это все из-за дня рождения. В последние годы при бешеном темпе его жизни он редко испытывал чувство одиночества. Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время. А времени у него не было. Он постарался так организовать свою жизнь, чтобы не иметь свободного времени. Проекты в Мюнхене и Штатах, защита диссертации и лекции в Польше, научные конференции, публикации. Нет, в последнее время в его биографии не было перерывов на мысли об одиночестве, на чувствительность и слабость вроде той, что напала на него здесь. Обреченный на бездействие на этом сером безлюдном вокзале, он не мог ничем заняться, чтобы забыть, и одиночество напало на него, как приступ астмы. Его присутствие здесь и этот незапланированный перерыв — всего лишь ошибка. Обыкновенная, банальная, бессмысленная ошибка. Как опечатка. Перед приземлением в Берлине он смотрел в Интернете расписание поездов и не обратил внимания, что со станции Лихтенберг поезда на Варшаву ходят только в будние дни. А всего минуту назад закончилась суббота. Впрочем, ошибка его была вполне объяснима. Происходило это утром после нескольких часов полета из Сиэтла, полета, завершавшего неделю напряженной работы без минуты отдыха.

День рождения в полночь на вокзале Берлин-Лихтенберг. Абсурдней ничего быть не может. Уж не оказался ли он тут с какой-нибудь миссией? Это место могло бы быть декорацией фильма, но обязательно черно-белого, о бессмысленности, серости и мучительности жизни. Он ничуть не сомневался, что Воячек\* здесь и в такую минуту написал бы свое самое мрачное стихотворение.

День рождения. А как он родился? Как это было? И очень ли ей было больно? Что она думала, когда ей было так больно? Он ни разу не спросил ее. Почему не спросил? Ведь это было так просто: «Мама, а тебе очень было больно, когда ты меня рожала?»

Сейчас он хотел бы это знать, но тогда, когда она была жива, ему ни разу не пришло в голову спросить.

А сейчас ее нет. И других тоже. Все те, кто для него был дороже всего, кого он любил, умерли. Родители, Наталья... У него никого нет. Никого, кто был для него необходим. Остались только проекты, конференции, сроки, деньги да порой признание. А кто вообще помнит, что у него сегодня день рождения? Для кого это имеет хоть мало-мальское значение? Кто это заметит? Да существует ли кто-то, кто подумает о нем сегодня? И тут-то подступили слезы, которые он не смог сдержать.

Вдруг он почувствовал, что кто-то его толкает.

— Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток. Выпьешь? — услышал он хриплый голос.

Он поднял голову. С исхудалого, заросшего, покрытого струпьями лица на него умоляюще смотрели глубоко запавшие, налитые кровью, испуганные глаза. В вытянутой дрожащей руке сидящего рядом обладателя этих глаз была

---

\* Воячек Рафал (1945–1971) — польский поэт. Его катастрофическая поэзия, в которой он экспрессионистскими средствами выражает трагическое неслияние человека и мира, болезненную замороженность смертью и сексом, а также самоубийство в возрасте 26 лет сделали его культовой фигурой уже для нескольких поколений молодых поляков. (*Здесь и далее прим. пер.*)



банка пива. И вдруг неожиданный сосед увидел в его глазах слезы.

— Послушай, приятель, я не хотел тебе мешать. Нет, правда, не хотел. Я тоже не люблю, когда кто-нибудь лезет ко мне, когда я плачу. Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость.

Но владелец компьютера не позволил ему уйти, схватив за куртку. Он взял у него банку и сказал:

— Ты мне не мешаешь. Ты даже не представляешь себе, как мне хочется с тобой выпить. Несколько минут назад начался мой день рождения. Не уходи. Меня зовут Якуб.

И неожиданно Якуб сделал то, что в этот момент представлялось ему самым естественным и чему он не мог противиться. Он обнял подсевшего к нему мужчину и прижал к себе. Положил голову на плечо в драной синтетической куртке. Они оба замерли на краткий миг, чувствуя, что между ними совершается нечто важное и высокое. И тут тишину нарушил поезд, с грохотом промчавшийся мимо скамейки, на которой они сидели, прикинув друг к другу. Якуб сжался, как испуганный ребенок, прильнул к соседу и что-то произнес, но слова его заглушил стук колес проносящегося поезда. Уже через миг он ощутил стыд. Второй, видимо, тоже ощутил что-то подобное, так как вдруг резко отпрянул, молча встал и пошел в сторону входа в туннель. Возле одной из металлических урн он остановился, достал из пластикового мешка листок бумаги, смял и выбросил. Через минуту он исчез в туннеле.

— С днем рождения, Якуб! — громко произнес сидящий, выпив последний глоток пива из банки, оставленной ушедшим возле компьютера.

То была всего лишь минутная слабость. Приступ сердечной аритмии, который уже прошел. Он полез в сумку за сотовым телефоном. Достал берлинскую газету, купленную утром, нашел номер службы такси. Набрал его. Уложил ноутбук и, волоча за собой чемодан, колесики которого с

шумом подскакивали на выбоинах платформы, зашагал к туннелю, ведущему в кассовый зал и к выходу в город.

Как это?.. Как он сказал?.. «Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость».

**ОНА:** Уже давно ни один мужчина так не старался, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она чувствовала себя привлекательной, а в бокале у нее были самые лучшие напитки.

— Никто не станет спорить, что у Золушки было исключительно печальное детство. Злые сводные сестры, непосильная работа и жуткая мачеха. Мало того что бедняжке приходилось травиться, извлекая золу из поддувала, так вдобавок у нее не было даже канала MTV, — говорил, заливаясь смехом, мужчина, сидящий рядом с ней у стойки бара.

Он был моложе ее на несколько лет. Ему явно не больше двадцати пяти. Красивый. Элегантен до совершенства. Давно уже ей не доводилось видеть мужчину, одетого так гармонично. Вот именно, гармонично. Он был изыскан, как его сшитые по мерке костюмы. Все в нем соответствовало друг другу. Запах одеколона подходил к цвету галстука, цвет галстука — к цвету камней в золотых запонках в манжетах безукоризненно голубой рубашки. Золотые запонки в манжетах — кто вообще в наше время еще носит запонки? — размером и оттенком золота соответствовали золотым часам на запястье правой руки. А часы подходили к поре дня. Сейчас, вечером, на свидание с ней в баре гостиницы он надел элегантные прямоугольные часы с изящным кожаным ремешком в цвет костюма. Утром на собрании в берлинской резиденции их фирмы у него на руке был тяжелый, почтенный «Ролекс». И пахло от него тоже иначе. Она это точно знает, потому что намеренно встала со своего места и наклонилась над его головой, чтобы взять бутылку минералки, хотя поднос с точно такими же бутылками стоял и перед ней.

Всю первую половину дня она присматривалась к нему. Его звали Жан, и был он бельгиец, «из абсолютно французской части Бельгии», как он сам подчеркнул. Она не знала, чем французская часть Бельгии так уж отличается от фламандской, но решила, что происходит из французской, очевидно, почетнее.

Как потом выяснилось, Жан не только для нее был самым притягательным элементом этого цирка в Берлине. Их собрали со всей Европы в берлинскую штаб-квартиру их фирмы, чтобы сказать, что руководству сказать им в общем-то нечего. Уже год она вместе с их бельгийским отделением занималась проектом, который в Польше не мог иметь успеха. Устройства, которые фирма хотела продавать, просто-напросто не подходили для польского рынка. Трудно продавать эскимосам крем для загара. Даже если это крем самого высшего качества.

Она вообще не хотела сюда приезжать и делала все, чтобы переложить эту поездку на кого-нибудь другого из их отдела. Они с мужем давно уже планировали съездить в Карконоше и заглянуть в Прагу. Не удалось. По недвусмысленному указанию из Берлина ехать пришлось ей. Вдобавок поездом, потому что, чтобы поездка эта имела хоть какой-то смысл, ей пришлось провести день в филиале их фирмы в Познани.

По пути из Варшавы в Берлин — она терпеть не могла ездить в поездах — у нее было достаточно времени, чтобы разработать стратегию, которая заставила бы центральное отделение отказаться от этого проекта. Однако Жан, тот самый бельгиец с запонками, соответствующими, надо думать, погоде, убедил всех, что «рынок в Польше сам еще не знает, что нуждается в этих устройствах», и что у него «есть гениально простая идея, как сделать, чтобы польский рынок об этом узнал». После чего на фоне тщательно изготовленных цветных слайдов он целый час излагал свою «гениально простую идею».

Мало того что она все это могла бы рассказать за пятнадцать минут и к тому же на куда лучшем английском, вдобавок на его слайдах ничего — кроме карты Польши — не соответствовало действительности. Но это не произвело ни на кого, за исключением ее, особенного впечатления. Было ясно, что директриса из Берлина приняла решение еще до презентации. Она тоже приняла решение, и тоже до презентации. Но проблема заключалась в том, что это были диаметрально противоположные решения. Но как директриса могла согласиться с ней? Разве такой обаятельный и красивый мужчина, говорящий по-английски с таким очаровательным французским акцентом, мог ошибаться? Директриса смотрела на бельгийца, несущего чушь на фоне цветных фантазий, как на красавца стриптизера, который вот-вот начнет раздеваться. Тяжелый случай менаузы. Что ж, искушение, по мнению директрисы, видимо, стоило того, чтобы рискнуть деньгами акционеров. Ну а кроме того, всегда ведь можно убедить эскимосов, что во время долгой полярной ночи они тоже загорают. Под космическими лучами. И кремы им будут очень полезны.

После Жана выступала она. Директриса даже не стала дожидаться конца презентации. Вышла, вызванная по телефону секретаршей. Благодаря этому все поняли, что ее слушать нет смысла. Все, как по команде, склонились над клавиатурой своих ноутбуков и занялись Интернетом. В сущности, она могла бы декламировать стихи или рассказывать по-польски анекдоты — никто бы этого не заметил. И лишь бельгиец, когда она закончила свое сообщение, подошел к ней и с обезоруживающей улыбкой произнес:

— Мадам, вы самый очаровательный инженер, какого я знаю. Пусть вы даже не правы, но я все равно слушал все, что вы говорили, затаив дыхание и самым внимательным образом.

Когда же она полезла в сумку, чтобы продемонстрировать ему свои расчеты, он предложил:

— Не могли бы вы убедить меня в своей правоте сегодня вечером в баре нашего отеля? Скажем, в двадцать два часа?

Она согласилась без малейших колебаний. Даже не пыталась затруднять ситуацию наскоро придуманным мелким враньем насчет того, как занята она вечером. Все официальные мероприятия, которые могли происходить по вечерам, уже произошли. Поезд на Варшаву отходил завтра около двенадцати. Ну и потом, ей хотелось хоть раз побыть с бельгийцем в отсутствие их берлинской директрисы.

И сейчас в гостиничном баре она тихо радовалась, что утром не слишком запальчиво протестовала против этого проекта. Бельгиец был поистине очарователен. Похоже было, что он часто бывает в этом отеле. С барменом он разговаривал по-французски — сеть отелей «Меркюр», в которых фирма традиционно бронировала для них номера, принадлежит французам, по каковой причине весь персонал и говорит на французском, — и очень смахивало на то, что они находятся в приятельских отношениях.

Теперь, когда проект продлили на следующий год, у нее будет возможность встречаться с бельгийцем гораздо чаще. Он ей нравился. Она думала об этом, глядя на него, пока он заказывал очередной напиток. А когда бармен подал им бокалы с налитым в них чем-то, имеющим необыкновенный пастельный цвет и экзотическое французское название, бельгиец придвинулся лицом к ее лицу.

— Уже давно я не начинал воскресенья с таким очаровательным существом. Только что пробило полночь. Уже тридцатое апреля, — сказал он, после чего легонько дотронулся своим бокалом, словно чокаясь, до ее руки, а губами нежно прикоснулся к ее волосам.

Это было как электрический удар. Уже давно она не ощущала такого любопытства, что же произойдет дальше. Должна ли она позволять ему прикасаться губами к своим волосам? Имеет ли она право испытывать подобное любопытство? Что бы ей хотелось, чтобы произошло дальше?

У нее есть красивый муж, объект зависти всех ее сотрудниц. Как далеко она может пойти, чтобы ощутить нечто большее, нежели этот давно забытый трепет, когда мужчина вновь и вновь целует твои волосы и закрывает при этом глаза? Муж давно уже не целовал ее волосы, и вообще он... такой чудовищно предсказуемый.

В последнее время она очень часто думала об этом. И обычно с тревогой. Нет, не то чтобы все стало обыденным. Совсем не так. Но исчезла та движущая сила. Развевалась где-то в будничности. Все остыло. Разогревалось только иногда, на минутку. В первую ночь по возвращении его или ее из дальней поездки, после слез и ссоры, которую они решали закончить в постели, после выпитого или каких-нибудь благовонных листьев, которые жгли на приемах, в отпуске на чужих кроватях, на чужом полу, в чужих стенах или в чужих машинах.

Это было постоянно. Лучше сказать, бывало. Но без былого неистовства. Без той мистической тантры, что была вначале. Без той ненасытности. Того голода, который приводил к тому, что стоило только подумать об этом, и кровь тут же, как ошалелая, с шумом отливала вниз, и мгновенно ты уже мокренькая. Нет! Такого не было уже давно. Ни после вина, ни после листьев, ни на паркинге у автострады, куда он свернул, потому что, когда они возвращались с какого-то приема, она, несмотря на то что вел он очень быстро, вдруг нырнула головой под его руки, державшие руль, — почему-то так подействовала на нее музыка, передававшаяся по радио, — и стала расстегивать ремень у него на брюках.

Наверное, причина в доступности. Все было на расстоянии вытянутой руки. Ни ради чего не надо было стараться. Они уже знали друг у друга каждый волосок, каждый возможный запах, каждый возможный вкус кожи, и влажной, и сухой. Знали все тайные уголки тел, слышали все вздохи, предвидели все реакции и давно уже поверили всем признаниям. Некоторые из них время от времени повто-